Гинзбург Лидия 13.10.93

Из дневников Лидии Гинзбург

Известно, как портят репутацию писателей их неуемные вдовы, печатающие после смерти мужа все написанное когда-либо и, возможно, отвергнутое как неудавшееся самим автором.

Мне, другу Лидии Гинзбург, умершей три года назад, было бы странно выступить в такой роли.

Все-таки я решился опубликовать в № 6 «Нового мира» за 1992 год целый ряд ее записок, не напечатанных ею при жизни.

И вновь осмеливаюсь на такую публикацию, рассчитывая на подготовленного читателя, знающего Лидию Гинзбург — блестящего литературоведа и прозаика (книги «О лирике», «О психологической прозе», «Человек за письменным столом» и др.).

Тех же, кто не знаком с ее творчеством, прошу учесть, что предлагаемые записки — лишь самая незначительная часть ее наследия, опущенная ею по разным соображениям из основного свода ее прозы. Резкость некоторых высказываний была бы погашена всем огромным контекстом ее эссеистики, — к сожалению, наше издательское дело находится в упадке: нет издательства, которое взялось бы сегодня за издание книг Лидии Гинзбург в полном объеме. Зато за рубежом книги Л. Гинзбург выходят на английском, немецком, итальянском и других языках.

Замечу еще, что острые характеристики в этих записках, пожалуй, и не нуждаются в оправдании. У Набокова в романе «Дар» промелькнул литератор со слишком добрыми для писателя глазами. Лидия Гинзбург, человек отзывчивый, добрый и глубоко порядочный, была настоящим писателем, с острым взглядом, проникающим в суть вещей.

Ее прозе, в отличие от многих громкоголосых литературных поделок прошлого и настоящего, суждено большое будущее. Как говорил поэт, заходите лет через сто — тогда поговорим.

А. КУШНЕР

«То ли мы еще видели...»

История дает немало примеров непрочности культурного величия. Возможно, что в начале 20-х годов XX века надолго сорвался полуторастолетний огромный размах русской литературы (поэзия от Державина до Пастернака; проза от Карамзина до Андрея Белого). Между тем никто не думает о резиньяции. У всех ощущение случайности, временной задержки, причины которой для чего-то необходимо разыскать.

Мы сохраняем позицию тоскливо и раздраженно, как люди, которым приходится долго дожидаться трамвая; тогда как нам следовало бы разойтись по домам, как людям, которым сообщили, что городское трамвайное сообщение за недостатком средств прекратилось.

Не дожидаться же трамвая, который пойдет в XXI веке. Лучше заняться своими делами: можно изучать старую литературу, читать иностранную, читать и современную, но только обязательно с резиньяцией — тогда это не вредно для здоровья. Придет нам на смену, новый культурный читатель и начнет читать без скрежета, обманутых претензий, без измерительного прибора, всуе доставшегося нам от времен легендарного великолепия. Благополучный читатель, со здоровыми историко-литературными нервами, со способностью получать удовольствие от хорошей книги среднего качества.

1927

Вчера разговор с Борей* об еврействе и проч., который возобновил во мне ход мыслей в этом направлении. Не знаю, волнует ли меня этот вопрос; скорее, он время от времени меня занимает.

Евреи обижаются, когда их ругают. Евреям говорят: как это вы хотите, чтобы мы вас не ругали, когда вы сами себя ругаете.

Еврейский антисемитизм крайне гадок потому, что его психологической основой является не самоосуждение, а самоотчуждение, — притом произвольное.

В 24-ом году Корней Иванович Чуковский, взяв на себя роль моего литературного покровителя (впрочем, когда я попросила три рубля аванса — он не дал, сославшись на то, что редакция «Русского Современника» находится в затруднительном денежном положении), захотел быть и моим крестным отцом.

Он печатал мою первую рецензию, которая ему нравилась, и уговаривал меня выбрать себе псевдоним.

— Покойный Гумилев говорил, что он не любит псевдонимов, — ответила я.

— Но у вас никуда не годная фамилия. Вас слишком много.

И он показал мне корректурный лист библиографического отдела журнала, где я нашла, не считая себя, еще двух однофамильцев, да еще музыкальных рецензентов.

Пока я стояла, уныло рассматривая совершенно одинаковых Гинзбургов с разными инициалами, Чуковский говорил: «Вот я, например, Корнейчук. Я понял, что эта фамилия слишком мужицкая, хохлацкая, и сделал себе Чуковского».

— Корней Иванович, знаете, я, может быть, взяла бы себе псевдоним, если бы я не была еврейкой. В еврейских псевдонимах — всегда дурной привкус. В них неизбежно есть что-то от фальшивого вида на жительство.

— Вы, кажется, правы, — сказал Чуковский.

Я несомненно была права.

В выборе псевдонимов евреи редко бывают нейтральны; неприличие в том, что они почти всегда plus Russe que la Russie même**. Между тем нельзя шутить культурой и нехорошо брать на себя обязательства чужой крови.

Как ни странно, но есть на свете нечто еще худшее, чем еврейские националисты, — это еврейские антисемиты.

Я вовсе не пишу о чужих пороках с точки зрения собственной добродетели; я пишу о психологических явлениях, которые, вероятно, были бы мне непонятны, если бы не были в какой-то степени свойственны.

Таких людей, как я, отличает от дурных людей не отсутствие дурных свойств, а умение их стыдиться; не скажу — с ними бороться.

Я как-то провела вечер у Томашевских. Среди множества разных разговоров всплыл разговор на национальные темы.

Тогда как раз шла всесоюзная перепись. Томашевский в виде курьеза рассказал о том, что кто-то из его приятелей-литераторов написал в анкете, в рубрике о национальной принадлежности, — еврей.

Я заметила, что сделала то же самое.

Б. В. долго говорил об абсурдности этой точки зрения, о том, что национальность определяется языком и культурой и проч.

«Вот я, например, полупольского происхождения, но ведь мне не придет в голову писать — поляк. У евреев это реакция на прошлое угнетение».

Томашевский верно определил факт, но неверно его оценил.

Каждому еврею русской культуры представляется возможность попасть в следующую ситуацию. Он приходит и говорит: «Помилуйте, да я русский!» А ему отвечают: «Помилуйте, вот у вас курчавые волосы и нос соответствующий, и даже состав крови у вас другой, нежели у арийцев».

На это существуют возражения: раса — понятие темное, национальность определяется языком и культурой; не считают себя обрусевшие немцы немцами и т. д. Много доказательств. Доказательства — условная вещь; точнее говоря, условна область применения доказательств. Есть положения, на которые нельзя отвечать доказательствами; на них отвечают смехом, слезами, мордобитием... есть положения, на которые вообще нельзя отвечать.

С полной убежденностью и убедительностью для себя я избираю нелогичный образ действий. Из благоразумия, из атавизма или из мнительности — я, человек русского языка, русских вкусов и русской культуры и, смею думать, абсолютной преданности русской культуре, — именую себя в анкетах еврейкой, — все это не заботясь о тонкостях различия между расой, национальностью, гражданством и вероисповеданием.

Во время знаменитого одесского погрома 1905 года мне было два года, и я болела скарлатиной. Дядя пешком пошел в аптеку на Херсонской. Вышел аптекарь-еврей (аптекарей не трогали, очевидно, из гуманности), узнал в дяде еврея и сказал ему: «Вы сумасшедший. Как вы можете ходить по улицам?» Дядя объяснил, что ребенок тяжело болен. Деньги за лекарство аптекарь не захотел взять.

Меня лечил доктор Стефанский, наш сосед по дому и добрый знакомый отца. Он снял у себя икону, под пальто принес ее к нам и умолял папу выставить икону в окне. Папа отказался начисто.

Разумеется, на окраинах, в еврейских кварталах, подобные ухищрения не могли бы пройти. Но в нашем районе, особенно в нашем доме, где евреев было очень мало, где не стали бы специально искать по квартирам, подобные вещи проделывались. Христиане же многие выставили в окнах иконы для того, чтобы их, так сказать, зря не тревожили. Доктор Стефанский имел свои основания.

Я выросла в доме, где не было другого языка, кроме русского, в синагогу я попала впервые в первый и единственный раз в жизни, как это ни странно, в Петербурге, синагога для родителей была воспоминанием детства — и не знаю, приятным ли. У меня были гувернантки-немки, которые в простоте душевной водили меня в кирху по воскресеньям и выучили читать «Отче наш» перед сном. Родители знали об этом и с беспринципностью, свойственной еврейской интеллигенции, посмеивались не то над немками, не то надо мной, не то над собой.

И все же, если передо мной человек, «скрывающий свое еврейское происхождение», меня передергивает от очевидной безнравственности поступка.

16.5.1927

Шкловский обставляет себя детьми и книгами. Он так гордится тем, что у него есть сын, как если бы он был импотентом, — что всячески противоречит действительности.

Он горд своим сыном и своими книжными полками, как человек с богемным и бездомным прошлым, которого судилище Кавериных приговорило к такому будущему.

Есть люди, которые всю жизнь заканчивают дело, начатое в юности, — это люди стареющие; и есть люди растущие, они открывают новые поля жизни. На четвертом десятке Шкловский стал отцом, историком литературы и библиоманом. В. давно мне рассказывала о том, как он в гостях вскакивал после чая и принимался мыть чашки, потому что не выносит вида грязной посуды. Он сердится, когда чужие люди приходят отнимать у него время. Это не одряхление, потому что одряхление может только исказить исконные элементы человеческой организации и не может внести новых, а это новая кожа.

Бор. Мих. <Эйхенбаум> сказал, говоря о смешанной крови Шкловского: у Вити кончился еврейский период и начался немецкий.

Тамара и Валя полагают, что Шкловский забавен, и обижаются, когда он на вечерах и заседаниях недостаточно забавно их забавляет. Между тем он ничуть не забавен. Это человек с тяжелым нравом и гипертрофией полового инстинкта, печальный и вспыльчивый. Не виноват же он в том, что темперамент сделал его оригинальность навязчивой, а талант превратил ее в литературную традицию, которая, как все традиции, притупилась.

К нему надо идти совсем не за забавностью, а за взглядом на вещи большого человека и за большой подлинной человечностью.

В Москве бывали вечера, когда я чувствовала, что замерзаю; я шла к В. Б. согреваться разговорами о Вяземском и Матвее Комарове. Я думала о Матвее Комарове и о том, как соблазнительна утонченная деликатность человека, известного всей России наглостью, буйством и цинизмом. Что бывало соблазнительно до поползновений (впрочем, неосуществившихся) занять у него денег или пожаловаться ему на то, что грустно и холодно жить.

Мне приходилось слышать, как Шкловского называли (и, может быть, не без оснований) предателем, хамом, эротоманом, недобросовестным профессионалом, — но я не выношу, не могу выносить, когда его считают шутом. Неужели же эти люди в самом деле думают, что он по формальному методу написал «Zoo», самую нежную книгу нашего времени!

1928

В. Гофман жестоко говорил о Гр.:* он думает, что можно взять академическую статью, прибавить к ней хамства — и тогда получится журнальный стиль.

1930

Еще недавно вы встречали человека, который радостно сообщал: а меня, знаете, напечатали! Прошедшей зимой все мы встречали людей унылых или расстроенных, которые тихим голосом говорили: «Подумайте, моих-таки две статьи напечатали. Так первая еще ничего, пожалуй, пройдет незамеченной. А вот на вторую непременно обратят внимание».

1930

Мандельштам почему-то выступил с последними стихами в Москве, на закрытом вечере «Литгазеты». Многие обиделись. Крученых стал наставлять Мандельштама. Кто-то крикнул:

— Замолчи, Крученых. За такие слова тебя уже Маяковский бил.

— Что ж, — ответил Крученых, — бил, бил, а сам и убился.

Шкловский сказал с места:

— Мы бы охотно поменялись.

Январь 1931

По Москве распущены слухи, что скоро выходит собрание сочинений Ахматовой со всеми портретами.

Анна Андреевна: «Подумайте, со всеми портретами... Последний, вероятно, в гробу».

1932

Году в 26-ом, когда Тынянов хотел еще умереть молодым, он придумал теорию сроков смерти замечательных людей. Одни замечательные люди умирают юношами, как Веневитинов, Новалис или Иван Коневской. Другие, как Пушкин и Байрон, умирают 37 лет. Третьи в 40 с небольшим, как Чехов и Блок. Если замечательный человек не умирает в 42 года, то он живет до 82-х лет, как Гёте, Толстой...

— И Иероним Ясинский, — добавил Томашевский, которому я излагала эту теорию.

1932

Наркомпросовские программы по литературе — тоже густой заскок. Там думают, что человек, который не читал Пушкина, — недостаточно культурный человек. Научить рабфаковца читать Пушкина и т. д. нельзя за недостатком времени, культурных предпосылок и реальной необходимости. Но ему спихивают куски «Онегина», две главы из «Мертвых душ», «Сон Обломова» и — «Станционного смотрителя». Какая нежная душа из Наркомпроса решила, что пролетарскому студенту необходимо оплакать участь чиновника, у которого гусар увел любимую дочь!

Литературное восприятие требует либо сочувствия, либо чувства истории. Это чувство истории, хотя бы в самом первобытном виде, имелось у дореволюционного гимназиста. У рабфаковца его нет.

Пушкин, Лермонтов, Гоголь не только не входят в состав его (рабфаковца) наличной культуры, но и потенциальной, той, которую он получит в меру своих возможностей, в меру требований, предъявленных к нему государством.

Классическая книга выделяла из себя ходячие знаки эмоциональных и социальных смыслов. В сознании интеллигента она жила плотностью общекультурных ассоциаций. «Евгений Онегин» — что это собственно? И из чего это состоит? Из статей Белинского? Из статей Мережковского? Из смерти Пушкина на дуэли? Из оперы, где перед смертью Ленский с чувством поет пародийные стихи? — Из стихов Пушкина? Из стихов Лермонтова?

...Воспетый им с такою чудной силой,
Сраженный, как и он, безжалостной рукой.

Поди разбери. Поди прочитай «Онегина» как такового. В интеллигентской среде это удавалось разве детям, читающим книги, которые им еще рано читать.

Я ужасалась сперва, на вопросы об основных свойствах Манилова или Плюшкина получая самые неподходящие ответы. Потом я привыкла и поняла: при отсутствии культурно-исторической апперцепции мгновенная связь понятий не необходима. Оказывается, толковый человек нашего времени может прочитать «Ревизора» и не заметить, что Хлестаков врет.

Из XIX века возможно кое-что доходчивое: Лермонтов, доходящий треском, — как пример старого стиха. Из Гоголя что-нибудь непререкаемо смешное (конечно, не «Мертвые души»). Для самых сильных немного «Войны и мира». И для всех — как можно больше Некрасова, который один только доходит весь чем надо — темой, силой, стихом, слезой. Проходить Некрасова увлекательно, проходить Пушкина — постыдно. Всякое, и с любого конца, понимание Пушкина исключено (кроме разве «Дубровского»). При этом тяжелая добросовестность людей, по привычке почитающих в Пушкине официальную ценность.

Когда я занимаюсь этим недобрым делом, мне жалко совсем не Пушкина, который в этом не нуждается. Мне жалко отчасти себя, а больше всего хороших людей, которые после трудового дня пришли заниматься делом, а их посадили бригадами читать:

Она любила Ричардсона
Не потому, чтобы прочла...

Кокетства в ней ни капли нет —
Его не терпит высший свет.

...В высоком лондонском кругу
Зовется vulgar. (Не могу...

Но *панталоны, фрак, жилет,*
Всех этих *слов* на русском нет...

За вычетом всего непонятного остается Онегин как представитель разлагающегося дворянства 20-х годов. Дело в том, что Некрасов действительно писал о положении крестьян, Тургенев действительно писал о нигилисте. А вот Пушкин не писал о разлагающемся дворянстве; это не было его предметом. Пушкин писал о Грандисоне и Чайльд Гарольде, о журналах, о Шишкове, о ножках и тысяче других непонятных вещей, среди которых между прочим разлагалось дворянство.

Рабфаковец в разгаре лабораторной проработки «Онегина» сказал мне: «Это хорошо. Только жалко, что написано стихами. В прозе было бы понятнее». Сказал это дельный человек. И в самом деле для той цели, с которой «Евгений Онегин» употребляется на рабфаках, его следовало бы написать не стихами и, главное, — покороче.

На месте составителей наркомпросовских программ я учла бы заявление студента.

1932

Если первая часть «Оттепели» еще имела смысл фронды, то вторая не имеет уже никакого смысла; она, напротив того, выглядит елейно, — потому ли, что Эренбург, при всей внешней нераскаянности, все же испугался и замел следы, потому ли, что со времени первой части уже было сказано вслух такое, после чего не сработали ни семидесятилетний бодрячок из концлагеря, ни два дурацких художника, которые в сущности перестраиваются (не совсем — это был бы нежелательный штамп, — но слегка), один, начав писать дыни, другой — отличного производственника.

Н. говорит, что возник новый вид литературы — подхалимствующая фронда. Очевидно, он и станет ведущим. Эренбург — истинный отец этого жанра. Ему дозволялась, даже вменялась в обязанность легкая фронда и тогда, когда всем дозволялось одно чистое подхалимство.

Основной прием подхалимствующей фронды состоит в том, что на сцену выводятся легкие тени зла. В «Девятом вале» вернувшийся с фронта еврей вдруг, изумленный и потрясенный, обнаруживает существование антисемитизма (представленного подвыпившим дворником). И тут же друзья успокаивают его: действительно есть некоторые отсталые элементы; на них лучше не обращать внимание. Евреи, читая, восхищались.

Что ж, тогда и это было важно — сказать слово, ставшее непроизносимым именно для того, чтобы невозбранно могло совершаться дело. Но о делах страшных и кровавых врать с такой ужимочкой мог только писатель. Только у писателя нет внутреннего сигнала «Не трогать!» — для некоторого рода вещей, когда о них нельзя сказать правду.

Теперь то же самое он проделывает со старичком, семнадцать лет просидевшим в концлагере.

Антисемитизм есть, но носители его — подвыпившие дворники. В лагерях сидели, но из них выходили с девственным мировоззрением. Хороших художников еще зажимают, но народ, никогда не видевший ничего, кроме герасимовщины или репродукций с Шишкина и Айвазовского, с первого же взгляда понимает и принимает новое искусство, и славный производственник аллегорически предает себя кисти современного художника.

Вот и вздохнешь о добром старом подхалимстве без фронды. Это был условный и замкнутый в себе мир, вовсе не претендовавший на правдоподобие, — он поэтому в меньшей степени оскорблял страдания человеческие. Но эта патриархальная продукция не имеет сейчас шансов на дальнейшее развитие.

1956

Берковский ехал однажды в одном купе с О. Берггольц. Она не пила и, как всегда в этом состоянии, в разговоре ее сочетались сквернословие, пафос благородства и свобода суждений. По ходу разговора Берковский заметил, что хорошо бы в один прекрасный день разом отменить все литературные репутации, всех видных, крупных, ведущих — и начать все сначала.

Вдруг, к крайнему его удивлению, О. Б. вскочила и сказала, сжав кулаки:

— Этого мы не допустим.

Она умная и даже даровитая женщина, но она совсем не поэт. И в глубине помутившегося сознания бродила догадка о том, что в каком-то последнем счете ее интересы совпадают с интересами презираемых ею казенных людей.

Март 1962

Саша говорил (когда недолгое время в середине семидесятых был антипастернаковски настроен), что в лучших, ранних стихах Пастернака — белиберда. Но в этих стихах неимоверная сила преображения, превозмогающая несочетаемость вещей. Из белиберды — красота, мир, несущийся, сломя голову.

Саша еще говорит, что люди того времени (серебряный век) — прекрасные чудовища.

Крепкие нервы — самое отличительное свойство декадентов.

Они могли, не сморгнув, выносить ситуации, невозможные для обыкновенного человека.

«Я еще пожелезней тех...» — писала А. А. Она могла годами обедать за одним столом с женой своего мужа (Анной Евгеньевной). Причем это отнюдь не был уравновешенный треугольник, — обедая, они не разговаривали друг с другом.

Н. Я. <Мандельштам> отождествила себя с Мандельштамом, с Ахматовой, — упустив совсем из виду, что она не великий поэт. Получилась чудовищность без прекрасного.

Пока ее не захвалили, она еще опасалась, сдерживалась. но во второй книге перешла границы дозволенного нормальному человеку.

1981

Когда-то меня восхищало «Детство Люверс». Сейчас читаю прозу Пастернака равнодушно. У него проза поэта в буквальном смысле. То есть те же слова; но нужные отношения между ними не возникают, — потому что нет тесноты ряда. Прозе же эти слова мешают быть прозой.

15.3.1983

Хренков — тогда главный редактор «Невы» — сообщил мне, что в одной вышестоящей инстанции ему сказали по поводу «Записок блокадного человека»: «Там слишком много говорят о еде».

Л. утверждает, что Хренков это выдумал. Если так, то хорошо выдумал.

20.8.1985

Много жаловалась Цветаева — в стихах, в письмах и разговорах. Поэтому ее жизнь выглядит ужаснее жизни ее сверстников, хотя им было не легче. Когда Цветаева рассказывает о том, что она жарит рыбу или ходит с кошелкой на базар, — сердце сжимается от жалости... Но то ли мы еще видели.

Я как-то сказала при Надежде Яковлевне Мандельштам, что, много занимаясь мемуарами, убедилась — чем талантливее мемуарист, тем больше он врет (Сен-Симон, Руссо, Герцен). Это ей понравилось.

Не потому ли, несмотря на испортившиеся отношения, Н. Я. в своей второй книге отозвалась обо мне, в виде исключения, благосклонно. Там даже есть фраза об одной «умной женщине», которая зря хвалила статьи Вячеслава Иванова. Это я.

17.2.1987

Евреям, участвующим в русском культурном процессе, иудаизм присущ в разных дозах. От напряженного национального самосознания до ассимилированности, более или менее полной.

Сильная еврейская окраска в прозе Бабеля.

Сложно обстоит с Мандельштамом. Мандельштам мыслил культурами. Иудаизм для него одна из культур (как и католичество, лютеранство), но она на особом положении личного, интимного опыта, уходящего корнями в младенчество. В «Шуме времени» — **хаос иудейский** или строки:

И над матерью звенели
Голоса израильтян.
Я проснулся в колыбели —
Черным солнцем осиян.

Так еврейское начало сознания, переплетаясь с другими, оказывается формотворческим. В других психологических комбинациях оно деструктивно. Еврей с установкой на тотальную ассимиляцию переживает порой свое происхождение как обузу и помеху. Он стесняется.

К этому типу принадлежал Пастернак. У него был еврейский комплекс (у Кафки тоже) — разновидность комплекса неполноценности, распаляемый антисемитизмом, самым победоносным, не только фактическим, но и психологическим врагом ассимиляции.

Пастернак, с его сквозной темой самоуничижения, отрицания себя и своего творчества, страдал своего рода мазохизмом, навязчивым чувством вины. Вероятно, каким-то сложным образом это переживание сочеталось с тайным чувством собственной ценности, неизбежным у большого созидателя ценностей объективных.

Непроходимая путаница... Он был убежден, что ассимиляция не только необходимость, но совершившийся психологический факт. Но на антисемитизм он отвечал не гордостью или злобой, а реакцией первородной вины, неполноценности, неудостоенности.

В январе 1928 года Пастернак писал Горькому: «Мне, с моим местом рожденья, с обстановкою детства, с моей любовью, задатками и влеченьями не следовало рождаться евреем. Реально от такой перемены ничего бы для меня не изменилось... Но тогда какую бы я дал себе волю! Ведь не только в увлекательной, срывающей с места жизни языка я сам, с роковой преднамеренностью вечно урезываю свою роль и долю. Ведь я ограничиваю себя во всем. Разве почти до неподвижности доведенная сдержанность моя среди общества, живущего в революцию, не внушена тем же фактом?.. Все пристрастья и предубежденья русского свойственны и мне. Веянья антисемитизма меня миновали, и я их никогда не знал. Я только жалуюсь на вынужденные путы, которые постоянно накладываю на себя я сам, по «доброй», но зато и проклятой же воле!»

Итак, он не может себе позволить... Он ограничен в своем праве быть выразителем русской духовной жизни.

В «Вопросах литературы» напечатана статья американского критика Дж. Гибиана, посвященная в основном вопросу национального самоопределения Пастернака. «Можем ли мы разрешить противоречие, — недоумевает Гибиан, — между негативным отношением Пастернака к понятию национальной принадлежности и его сильным желанием считаться русским? Думаю, лишь частично. Он отрицает коллективное чувство принадлежности к нации в качестве ее частицы, но одобряет и олицетворяет собой желание личности обладать национальными чертами характера». Это логическое противоречие эмоционально вполне объяснимо. Еврейское происхождение было для Пастернака унижением, а принадлежность к русскому национальному типу — сублимацией. Он мерил эти данные разной мерой.

Национальное самоопределение без языка и культуры — бесплодно. В диаспоре безъязыкое национальное сознание как-то может существовать, если существует еврейская община, как социальная единица. У нас ее нет, и с еврейским самосознанием надо ехать в Израиль и искать там язык и родину.

Так же, как у меня есть внешние расовые признаки, так, вероятно, есть еврейские черты ума и характера. Но это факт биологический; у меня они не социализированы, не подняты до структурного смысла. И я знаю, что ношу в себе частицу судьбы и мысли русской интеллигенции. А противоречие все же не отпускает...

Есть рефлексы, точно срабатывающие на антисемитизм. Чувство общественного приличия запрещает увиливать от своего происхождения. Нельзя находиться в положении человека, который сегодня говорит: «я русский», а завтра может стать объектом еврейского погрома, который, кстати, нам упорно обещают соответственным образом настроенные неформалы.

4.9.1989

---

* Б. Я. Бухштаб (1904—1985) — литературовед, друг Л. Я. Гинзбург и ее однокашник по Институту истории искусств.

** Более русские, чем сами русские (франц.).

* Г. А. Гуковский (1902—1950) — литературовед, друг Л. Я. Гинзбург.

47